

Излечима ли болезнь этноцентризма? ч.1

[Виктор Шнирельман](#)

Из опыта изучения конструирования образов прошлого

Публикуем фрагменты из статьи археолога, этнолога и антрополога, доктора исторических наук Виктора Александровича Шнирельмана «Излечима ли болезнь этноцентризма? Из опыта конструирования образов прошлого — ответ моим критикам», опубликованной в журнале «Политическая концептология» в 2013 году. Как сказано в авторской аннотации, «Статья посвящена проблеме влияния этнонациональных эмоций на деятельность историков. Автор исследует динамику конструирования образов прошлого, точки конфронтации между различными образами “предков”, связи между серьёзными политическими событиями и новыми витками “войн памяти”, сопровождающимися переписыванием истории».

Эпоха перестройки ознаменовалась небывалым всплеском альтернативной истории. Прежняя привычная схема исторического развития России оказалась ветхим сооружением, требующим либо капитального ремонта, либо полного сноса и замены зданием, построенным по совершенно новому проекту. Но вопрос о том, каким надлежало быть этому проекту, оказался настолько животрепещущим, что в оживленные дискуссии быстро втянулись массы участников, причем профессиональные ученые составляли лишь относительно малую и далеко не самую яркую их часть. **Информационное пространство заполнили неопиты, смело бравшиеся за решение самых сложных исторических проблем. Предлагавшиеся ими версии прошлого отличались неожиданностью и новизной и неизменно встречали живой интерес у самой широкой публики. Профессионалы, приученные к осторожности и взвешенности своих суждений, были неспособны успешно конкурировать на этом поле; публике их построения казались безликими и лишенными увлекательности, и борьба за читательский интерес была ими безнадежно проиграна.** Разумеется, в этом сказался определенный консерватизм многих профессионалов, неготовых к решительному отказу от прежних, казалось бы, устоявшихся представлений. Здесь сыграли роль целый ряд факторов – во-первых, пиетет научных учителей, во-вторых, привычка руководствоваться сигналами, исходящими от власти, в-третьих, трудности радикального отказа от философско-методологических догм, десятилетиями царствовавших в науке, и, наконец, тот факт, что выработка новых подходов и освоение новых ставших доступными источников требовали времени.

Феерический успех «альтернативных историков» был встречен в научной среде с настороженностью и тревогой, быстро перешедших во враждебность. Многие специалисты старались просто не замечать их деятельности, воспринимая ее как «мусор», неизбежно появляющийся в поле масс-культуры. Помещая себя на недостижимую высоту, научные «мандарины» тешили себя образом «властителей дум» и не задумывались об опасности маргинализации в условиях господства всеобщего кича. У других ученых деятельность «альтернативщиков» вызывала открытую неприязнь, и они с возмущением набрасывались на них, обвиняя в «искажениях исторической истины», «беспределе в науке», «дилетантских подходах», «нехватке профессиональных знаний», «неумении обращаться с историческим материалом» и пр. Третьи отвечали едкой сатирой, пытаясь выставить своих нежелательных конкурентов в смешном или неприглядном виде. Однако от всего этого поток «альтернативной истории» нисколько не иссякал; напротив, ряды неопитов пополнялись все новыми именами. Они не только успешно оборонялись, но переходили в наступление, обвиняя профессионалов в сервиллизме, подбострастном обслуживании скомпрометировавшей себя власти или даже сотрудничестве с тайной полицией, а также слепом использовании отживших «колониальных» и «имперских» подходов.



Все это сигнализировало об обретении наукой нового качества – в условиях демократизации она становилась частью масс-культуры, что само по себе составляло проблему, достойную изучения. У этой проблемы имелся и особый ракурс, связанный с жадным поиском далеких предков, чем в годы перестройки активно занялись интеллектуальные элиты, представлявшие отдельные этнические группы. Именно тогда произошел первый безудержный выплеск «энергии памяти» (термин М. Н. Губогло), ранее ютившейся в темных закоулках и подворотнях андеграунда и контркультуры. Мне это тогда показалось

интересным, ибо демонстрировало своеобразие культурного творчества в революционную эпоху в условиях ломки старого уклада и становления нового. Особенно захватывающими представлялись этнические конструкты, с одной стороны, отважно отвергавшие прежние академические догмы, но, с другой, слепо следовавшие устоявшимся академическим канонам в рамках сложившегося к тому времени поля исследований этногенеза. Что это за явление? Почему, мечтая о будущем, люди всеми силами устремлялись в прошлое, причем не в ближайшее, а в отдаленное, покрытое мраком забвения? Что они искали в этой седой старине, чего ожидали от нее? Почему столь высоким спросом стали вдруг пользоваться раннесредневековые или даже первобытные предки? Какие образы люди придавали таким предкам и какими качествами их наделяли, чего от них ожидали? Что означал этот возврат к «первоначалам»? Имеем ли мы здесь дело с «вечным возвращением», о котором, вслед за Ф. Ницше, писал М. Элиаде, и, если так, то как его надо понимать?

Все эти вопросы внезапно встали перед российской наукой именно в годы перестройки. Их важность ощутили многие специалисты, и некоторые из них занялись тогда изучением процесса «переписывания истории». Однако, во-первых, их интерес ограничивался недавней историей, охватывавшей лишь советские десятилетия, что было оправдано ставшими вдруг доступными многочисленными архивными материалами, позволявшими взглянуть на эту историю с неожиданной стороны, поражающей своей неприглядностью и жестокостью. Во-вторых, тогда многие специалисты концентрировали свое внимание лишь на тех ревизионистских версиях прошлого, которые создавались у них на глазах, как будто никакого «переписывания истории» не наблюдалось ранее. В-третьих, интерес вызывала прежде всего «большая политика», делавшаяся в центре и оказывавшая безусловное влияние на конструирование образов прошлого. На этом фоне этнополитический фактор многим казался маргинальным и не привлекал столь же пристального внимания.

Между тем, в стране нарастала межэтническая напряженность, кое-где перераставшая в серьезные этнополитические конфликты и даже кровавые войны. Выход из конфликтов и их предупреждение требовали понимания их причин и стоявших за ними проблем, что неизбежно приводило к фактору идеологии. И обнаруживалось, что такая идеология неизменно апеллировала к образам прошлого, создававшимся местными интеллектуалами. При этом, основываясь на одних и тех же исторических фактах и исходя из общих методологических установок, ученые из соседних республик приходили к разным, порой диаметрально противоположным, выводам относительно прошлого своего и соседних народов. Мало того, обнаруживалось, что конструирование образов прошлого, отклонявшихся от находившейся под жестким контролем ортодоксальной версии истории, началось задолго до перестройки и охватывало едва ли не всю советскую эпоху (правда, в этом различные этнические среды демонстрировали определенную вариативность). И та «альтернативная история», которая активно выстраивалась в регионах в переломные годы, опиралась на более ранние традиции, без анализа которых ее нельзя было ни понять, ни оценить. Тщательный анализ показывал, что еще в советские годы в отдельных республиках активно создавались и находили спрос «девиантные» версии прошлого, существенно отличавшиеся от официальных и существовавшие параллельно с ними.

.....

Это было тем более актуально в этнической среде, чутко реагирующей на этническое соперничество и дискриминацию. Не имея возможности открыто об этом заявить, местные интеллектуалы (в англоязычной среде для этого используется термин “indigenous anthropologists”, не имеющий подходящего русского эквивалента) выработали особый метафорический язык, формально обращенный в прошлое, но фактически описывающий как ущербную современность, так и мечты о справедливом будущем. Речь шла об эзоповом языке, где образы (порой довольно фантастические) отдаленного прошлого должны были служить повышению самоуважения и выработке чувства собственного достоинства, призванными успешно преодолеть «травматическую память» и эффективно противостоять тому, что являлось или считалось дискриминацией. **В таком контексте далекие предки выглядели уже не ушедшими в небытие «теньями прошлого», а полными сил агентами будущего, зовущими вперед к новым свершениям. Предки и связанное с ними славное прошлое становились действенными политическими символами, призванными способствовать общественному сплочению и социальной мобилизации.** Иными словами, «самобытная культура» и образ прошлого являлись и являются важными политическими ресурсами, помогающими группе бороться против дискриминации или вообще того, в чем она видит несправедливость. То, что официальные советские идеологи годами трактовали как недопустимую «идеализацию истории», оказывалось вовсе не прихотью отдельных наделенных фантазией авторов, а настоятельной потребностью этнических групп, нуждавшихся в психотерапии (история как «врачеванье», по М. Ферро) и расчищавших себе место под тусклым солнцем сурового режима.



Мало

того, вопреки ожиданиям советских идеологов, «общая история» отнюдь не сближала людей, а, напротив, разделяла, ибо, опираясь на память о предках, они нередко оказывались по разную сторону баррикад. Даже соседние народы, казалось бы, имевшие единое происхождение и общих предков, всеми силами отказывались от такого родства и выстраивали для себя особые исторические конструкции, радикально отличавшие их от соседей. Именно в этом контексте происходила борьба за предков, находившая отражение не только на страницах профессиональных изданий, но и в школьных учебниках, музейных экспозициях, оформлении городов, новых национальных праздниках и т. д. Дело доходило до раскола этнонациональных элит, расходившихся в своем понимании предков и выбиравших для своего народа весьма различные генеалогии. В итоге, вопреки ожиданиям местных интеллектуалов, увлечение такими построениями не сплачивало, а, напротив, раскалывало народ, что наблюдалось в последние двадцать лет в Татарстане (споры между «татаристами» и «булгаристами») [Shnirelman 1996] и тридцать лет в Азербайджане (споры между «тюркистами» и «албанистами») [Шнирельман 2003].

Если, как отмечалось выше, многие специалисты ассоциировали «альтернативную историю» с деятельностью дилетантов, то внимательное изучение историографии показывало, что все это было не чуждо и профессионалам, имевшим научные степени и звания. Следовательно, не приходилось говорить о «непрофессионализме» или отсутствии необходимых знаний и навыков. Тем самым, проблема становилась и сложнее, и интереснее. Выяснялось, что функция исторической науки не сводится к одному лишь познанию прошлого; еще важнее тот факт, что она создает язык борьбы и сопротивления и обеспечивает такую борьбу убедительными образами, способными вовлечь народные массы в политику «иными средствами».

Здесь-то и обнаруживается вся сила того, что можно назвать «историческим мифом», представляющим собой конструкцию, создаваемую с помощью современных научных технологий для противопоставления суровому и трагическому реальному миру мира идеального, к которому следует стремиться.

Выстраиванием таких образов прошлого занимались не только специалисты, но и дилетанты, и эти образы находили отражение не только в историографии, но и в школьных учебниках, исторических романах, театральных постановках, кинофильмах, монументальных памятниках, произведениях художественного творчества (живописи, скульптуре) и т. д. Сегодня это получает своеобразное отражение в «исторических реконструкциях», где проигрываются прошлые сражения, причем таким образом, что былой проигравший на этот раз становится победителем, и, тем самым, «историческая ошибка» исправляется. Все это, разумеется, имеет психотерапевтическое значение.

Показательно, что некоторые историки вступают на этот путь не в силу внешнего принуждения, а добровольно, видя в этом долг служения своему народу. При этом они нередко оказываются перед лицом неразрешимых противоречий, вытекающих из невозможности гармонично совместить научную методологию и верность историческим фактам с потребностью удовлетворить этнонациональные чувства и интересы.

Впрочем, не все области исторической науки для этого в одинаковой мере подходят. Когда историк занимается конкретным исследованием, он в большей мере ограничен требованиями научной методологии, чем когда он пишет «национальную историю». Ведь, во-первых, ни один историк не способен учесть всю массу фактов, связанных с этой историей – никакая эрудиция этому не помогает, да и новые исследования ведут к получению новых данных, иной раз заставляющих существенно корректировать прежние представления. Во-вторых, история знает немало противоречивых фактов, и написание национальной истории требует тщательного отбора документального материала. Но именно от историка и его гражданской (политической) позиции зависит то, какие именно факты он сочтет принципиально важными, а какие второстепенными или даже недостойными упоминания. Наконец, в-третьих, любые факты требуют интерпретации, и именно здесь в наибольшей мере проявляются гражданская позиция ученого, его политические симпатии и антипатии, короче говоря, то, основания чего лежат уже за рамками «чистой науки». Поэтому «национальная история» в изображении, скажем, либерального и консервативного ученых будет выглядеть настолько своеобразно, что читатель с трудом узнает в этом одну и ту же страну. Эта оптика кардинально меняется и в том случае, когда прошлое рассматривается не из федерального центра, а из конкретного региона, в особенности, если речь идет об этнонациональном административном образовании. Иными словами, обнаруживается, что идеальный образ «непогрешимой академической исторической науки» на практике искажается интересами и эмоциями, накладывающими своеобразный отпечаток на те или иные исторические построения. Это-то и объясняет нам, почему к построению «национального мифа» оказываются иной раз причастными не только дилетанты, но и признанные специалисты. Иными словами, вопреки уверениям некоторых историков, грань между «чистой наукой» и «историческим мифом» оказывается весьма зыбкой и легко преодолимой.